

Павел Васильевич Анненков

Г-н Успенский



Павел Васильевич Анненков

Г-н Успенский

*Текст предоставлен правообладателем.
http://www.litres.ru/pages/biblio_book/?art=2572175*

Аннотация

«...Автор «Рассказов» с первого же появления своего в литературе заявил себя врагом всякого церемониала и всех условий, которые бы могли связать его деятельность. Он поставил себе задачей изображение жизни не в подобранные, так сказать, ее минуты, не в чертах, глубоко скрытых на дне ее, а как она мечется в глаза сама собою. Никто лучше его не был приготовлен к этой задаче: его замечательная способность схватывать на лету каждое явление, со всеми мельчайшими подробностями, его спокойный юмор и откровенная веселость, без напряжения и усилий поддержать ее, тотчас же отличили выгодным образом его рассказы от других произведений в этом роде...»

Павел Васильевич Анненков Г-н Успенский

Небольшой томик рассказов г. Успенского, изданный в 1861 г., привел нам на память другой небольшой томик народных рассказов, изданный Шили 12 лет назад, именно «Записки охотника» г. Тургенева. Различие двух литературных эпох нигде, может быть, так ясно не выражается, как в этих книжках, занимающихся почти одним и тем же предметом: жизнью простого народа посреди других классов общества, более или менее образованных. Благодаря этим изданиям, мы можем теперь сличить отношения писателей к русскому народу в конце 40-х годов с отношениями к народу нового литературного периода в начале 60-х и получить несколько выводов, может статься, не лишенных своего рода значения и занимательности.

Литературная эпоха, в которую явились «Записки охотника», нисколько не стеснялась в своих суждениях о народе и служила, как известно, ареной для весьма яростных и совершенно бесцеремонных битв между различными мнениями о старине, о древней цивилизации страны и о наследии, оставленном ими государству вообще. Так было, покуда народ являлся как отвлеченное понятие, как вопрос науки; но

лишь только литература выходила из круга философских, исторических и политических прений по его поводу и бралась за народ как за живое, нравственное лицо, дело изменялось совершенно. Самые сильные художнические таланты того времени обнаруживали замечательную осторожность в обращении с ним и даже вводили для этого особенные приемы. За очень малыми и совершенно незначительными исключениями, каждое из произведений, где дело шло о воспроизведении быта и понятия народа, подчинялось каким-то тайным законам приличия, возникшим безгласно, но всеми признанным. Существование чего-то вроде этикета, добровольно налагаемого на себя теми, кто решились вступить в сферу народной жизни, чувствовалось постоянно. В чем заключались условия этого этикета и какие требования содержали в себе законы установленного приличия, определить с точностью довольно трудно: они, например, нисколько не исключали свободы суждения и порицания, не нарушали прав писателя передавать без утайки всевозможные комические положения, не возбраняли ему самого кропотливого и самого мрачного анализа темных сторон народного быта и предоставляли его произволу бичевать порок, невежество, дикость нравов и понятий везде, где бы он их ни встречал. Кодекс вежливости, гуманного общежития по отношению к народу, кажется, заключался весь в одном правиле: признавать за народом обладание своеобычной мыслию и оригинальным воззрением на мир. По этому пункту состоялось то молча-

ливое соглашение между писателями, которое объясняет общий характер их произведений. Правило это, раз утвержденное, должно было устроить одинаково и все приемы авторов при приближении их к отдельным личностям из народа, какими бы смешными или черными лицами, впрочем, они ни представлялись их наблюдению. Задача состояла в том, чтоб отстранить народ, взятый в массе, от всякой ответственности за эти личности: при самом беспощадном обличении дикости, зверских и животных страстей, правило требовало, чтоб народ целиком или одно из низших сословий общества оставались постоянно в стороне и не были тронуты никаким обидным подозрением. За ним бережно сохранялась репутация силы и предположение о неизмеримых средствах обновления, какие они способны найти в самих себе при случае. Что бы кругом них ни происходило и к чему бы они ни подали сами повода, они уже оставались *безответственными* лицами в конституционном смысле эпитета. Эта утонченная вежливость писателей к народу сообщила произведениям минувшего литературного периода особенный характер, еще мало оцененный исследователями. Он лежит так же точно на произведениях Островского, что бы ни говорили об ужасах его «темного царства», как и на произведениях Писемского, что бы ни толковали о хладнокровных, беспощадно-реальных отношениях этого автора к предметам изображения: он составлял отличительное качество произведений покойного Кокорева, так мало оцененного при жизни и по

смерти, и он же проникает все сцены «Записок охотника», которые в свое время и подверглись за то обвинению в намерении возвысить одно сословие насчет всех других. Тут еще надо заметить, что поэтическое созерцание русской природы и самой обстановки простого человека, свойственное им всем, заметное и у Писемского (см. «Питерщик» и рассказ о кликуше), весьма сильно развитое у Тургенева и введенное Островским даже в драму (смелость замысла и превосходные эффекты, добытые исполнением его, известны публике) было во многих случаях смягчающим фоном для картин из народного быта. Поэзия при этом составляла еще род охраны, род щита, под которым бережно соблюдались все права народа на симпатическое участие общества, а иногда употреблялась как полупрозрачный вуаль, который не скрывал его недостатков, а только умерял их резкость. Все эти приемы и общее настроение писателей, откуда они вышли, подсказаны были не корыстным расчетом, часто встречающимся в иных демократических литературах, которые на лести народным массам и на придворной службе у толпы стараются упрочить свое влияние и приобрести силу, недостающую их нравственным основаниям. Здесь ничего подобного от масс и от толпы ожидать нечего, а скорее можно было ожидать кое-чего с противоположной стороны. Причина появления уклончивых и, пожалуй, потворствующих отношений к народу была здесь совсем другая. Крепостное состояние во всех его видах, начиная с неусыпной опеки до безот-

четного произвола, еще не покидало твердой своей позиции, а между тем реформа крестьянского быта и общества вообще, которая должна была столкнуть враждебное установление с места, уже жила в избранных умах, прежде своего появления в законодательстве: эта еще непризнанная, еще не воплотившаяся реформа именно и подсказывала тон ласкающего и возвышающего обращения с народом, сделавшийся обязательным для всех писателей. Литература становилась адвокатом народа в то самое время, как объявляла себя его живописцем, и это двойное призвание уже исключало для нее возможность патриархально-свободного или дружески фамильярного отношения к нему, да и вообще всякую бесцеремонность в приемах.

Пришла ли пора смеяться над этим кодексом вежливости и над правилами добропорядочного поведения в обществе меньших братии, мы не знаем. Мы не убеждены также, чтобы склонность задавать себе труд истолкования народной физиономии, вместо одной простой передачи ее примет, в чем-либо походила на маркизную утонченность обращения, уважающую людей только за то, что имеет с ними дело. Люди того времени зорко смотрели друг за другом. Осуждение частных излишеств и погрешностей направления производилось критикой с замечательной строгостью и в эпоху его господства; она не оставалась молчаливой ввиду приторности или искусственного жара некоторых бесталанных произведений, которые хлопотали о народе для того, чтоб связать с ним

свои литературные грехи, и не затруднялась указывать в них отсутствие истинного чувства, дельного понимания предмета и, при случае, очень ясно распознавала недостойную спекуляцию на общее расположение умов, как она ни хоронилась за похвальными стремлениями. Вероятно, по этой причине упреки, которые по временам раздаются ныне старому направлению, ограничиваются покамест отрицанием возможности передать истину касательно народного быта с помощью той манеры, которая была устроена прежним литературным периодом. Через десяток лет с небольшим нам понадобится уже *голая правда* насчет простого человека – ни более, ни менее. Почему же и не так! Голая правда, без всяких прикрас, исканий по сторонам и оговорок, может быть положена в основание весьма плодотворной деятельности, только надо согласиться сперва, что принимать за правду? Нагота правды уже будет стоять тогда вне спора.

Автор «Рассказов» с первого же появления своего в литературе заявил себя врагом всякого церемониала и всех условий, которые бы могли связать его деятельность. Он поставил себе задачей изображение жизни не в подобранные, так сказать, ее минуты, не в чертах, глубоко скрытых на дне ее, а как она мечется в глаза сама собою. Никто лучше его не был приготовлен к этой задаче: его замечательная способность схватывать на лету каждое явление, со всеми мельчайшими подробностями, его спокойный юмор и откровенная веселость, без напряжения и усилий поддержать ее, тотчас

же отличили выгодным образом его рассказы от других произведений в этом роде. Кто не помнит и кто не смеялся над картиной ожидания светлого дня, ночью, на селе, у священника, над расчетами обозничих с содержателем постоянного двора, который довел их непривычным *цифирем* почти до умопомешательства; над паническим ужасом, обуявшим целый ям и всех проезжих по милости одного буяна, который умеет владеть голосом и кулаками и т. д. Не все анекдоты г. Успенского, однако же, смешны по содержанию; есть и такие, которые, не переставая быть смешными, разоблачают глубокое страдание или ужасающую испорченность. Смех умеет везде пристроиться у г. Успенского. Как ни мрачен, в сущности, портрет бедного дьячка, празднующего крестины (см. рассказ «Крестины»), комический оттенок лежит на нем в той же мере, как и на равнодушных свидетелях его беспомощного состояния, как и возмутительно зрелище разврата, притеснений и дикой жестокости, распространяемых кругом мирской крестьянской сходкой в сообществе с кабаком и целовальником (см. рассказ «Хорошее житье»), комический элемент облакает в одинаковой степени орудия тирании и их жертвы, не даваясь нигде ни гуще, ни слабее. Безразличие юмора до такой степени составляет принадлежность таланта у г. Успенского, что там, где он старается распределить его более справедливым образом или вовсе обойтись без него, посвящая перо свое на изображение простого трогательного анекдота, он уже теряет решительно все свое зна-

чение, как оригинальный писатель. Рассказ переходит тогда в очень обыкновенную, но тем не менее очень искусственную мелодраму, как это можно видеть в сценах «Рекрутский набор», помещенных в «Русском вестнике». Другой недостаток нашего автора состоит в том, что анекдоты его получают иногда забавный характер, только достигая крайней степени неправдоподобия, эксцентричности, чему мы видим образцы в рассказе «Деревенская газета», где чтение газеты мужиками представляет картину почти нечеловеческого безумия, что отчасти можно заметить и при расчете вышеупомянутых обозначих. К этому мы присоединим еще одно замечание: автор иногда укорачивает свои рассказы до того, что они перестают быть даже и анекдотами, а становятся передачей происшествия, начало и конец которого утерялся неизвестно по какой причине. Впрочем, последнее замечание касается уже только новейших рассказов г. Успенского, и обстоятельство это мы изъясняем излишней поспешностью работы, заранее уверенной в достоинстве своего производства. Там же, где юмор не слабеет под влиянием посторонних соображений материального или нравственного рода, он спокойно, мерно, почти как физическое явление, распространяется на всех действующих и очень бесстрастно кладет свою печать на разнородные лица: правых и виноватых, плугов и обманутых, которые еще не доросли до плутов, обидчиков и обиженных, которые еще не успели сделаться обидчиками в свой черед. Все это уравнивание людей, нивелировка их про-

изводится не в силу какой-либо злобной, мизантропической теории, а наоборот, в честь веселого божества – смеха. Иначе и быть не могло: если между автором и предметом изображения нет никакой промежуточной, посредствующей мысли, явления жизни уже питают одно главное качество авторского таланта, которое и растет, на их счет, в ширь и глубь, без заботы о чем-либо, кроме своего существования...

В таком виде явились упрощения отношения к народу и так называемая голая правда на его счет. По выходе книжки «Рассказы» г. Успенский был объявлен представителем новой литературной эпохи, лучше понимающей условия народного существования и вернее, независимее собирающейся передавать его черты и подробности. Мы помним даже, что веселые рассказы г. Успенского были названы симптомами поворота литературы к более правильному и более трезвому взгляду на крестьянское сословие. Если все это правда, тогда автор может считать себя очень счастливым человеком: никто не делался представителем направления и не способствовал литературному повороту так беззаботно и с меньшими усилиями воображения.

Это не значит, чтоб мы не признавали или хотели заподозрить его репутацию как писателя, наделенного в замечательной степени талантом подчинять влиянию смеха всех самых изыскательных своих читателей. Конечно, никто не подумает отрицать в нем резвость и изобретательность фантазии, способной творить из окружающего мира неожидан-

ные, крайне забавные узоры; никому также не придет в голову сомневаться в его умении блюсти строгое подобие истины и действительности при таких случаях, которые у другого писателя непременно возбудили бы недоверие. Он заставляет верить тому, что утверждает, и лучшим свидетельством этого может служить одно обстоятельство: еще никому не пришло на мысль справиться, на чем держится смех, производимый его рассказами, чем возбужден он и что остается после него? Успех рассказов г. Успенского в публике, кроме их прямых достоинств, поясняется еще и условиями того времени, в которое они стали появляться. Реформа крестьянского быта, со всеми последствиями для общества, уже близилась. Умы так были настроены к неизбежному перевороту, что еще не зная его сущности и содержания, заранее приучали себя с одной стороны, к ограничениям, которые он должен принести, а с другой стороны – к правам и вольностям, которыми он должен был сопровождаться. Все мы очень хорошо помним это недавнее время, когда, не отказываясь вполне от закоренелых жизненных своих привычек, общество говорило об уничтожении привилегий. К этому времени подоспело и понятие о народе, как о нравственном лице, с которым следует обходиться просто, независимо, подвергая его беспощадному обличению и действию суровой правды наравне со всеми другими лицами и предметами общественного и государственного значения. Иллюзии, которые окружали народ, еще не вышедший на свободу, стано-

вились, по мнению общества, не нужны теперь, когда он уже находился на рубеже ее. Рассказы г. Успенского с их бесцеремонной расправой и обличением пороков и комических сторон народного быта подходили в некоторой степени, конечно, без ведома их автора, к общему настроению этого промежуточного времени, которое включило в число своих обязанностей строгое исследование недостатков вновь прибывающего члена гражданского общества, неумышленное правосудие к нему и неослабный за ним надзор, предоставляя и ему, в его очередь, платить тою же монетой своим старшим братьям, если пожелает. Всего более нравилось в рассказах нашего автора отсутствие того мистического существа, которое являлось у прежних писателей под именем народа, стояло за всеми их комическими или безобразными лицами и как будто искупляло их нелепости и их преступления одним своим присутствием. По временам от существа этого писатели отделяли живые и серьезные образы, не вполне высказывавшие себя, но исполненные глубоких намеков на жизнь и открывавшие существование какого-то оригинального учения о человеке, что все раздражало любопытство читателя и мешало составлению решительного приговора над народом. В рассказах г. Успенского это таинственное существо было упразднено; народ разбился на множество отдельных личностей, более или менее пошлых, смешных и карикатурных: он сделался яснее и понятнее, и суждение о нем значительно облегчилось. И не один произвол суждения выигрывал

при этом: выигрывал и автор, имея дело с лицами, за которых ни с кем не приходится считаться, которые уже никем не поддержаны и, как подобает *свободным* гражданам, несут сами ответственность за свои поступки. Что нужды, если эти составные части народа, оторванные от общей массы его и поставленные отдельно, едва держатся на ногах, отличаясь беспомощно-нелепым или тупо-пассивным характером? Достаточно, что в изображении их нет ничего подложного, а что автор имеет полное право при этом воздержаться от всяких выдумок, фантастических предположений или создания идеалов, которым не верит, о том и говорить нечего. Мы находим все резоны, заставившие его искать физиономии народного быта в самом близком от себя расстоянии – вполне уважительными. Мы готовы следовать за ним куда угодно и несколько не прочь от явлений простонародного русского мира, взятых по мелочи и без связи с общим характеромсловия, особенно если передаются они с такой неисчерпаемой веселостью, как у нашего автора. Литература должна была рано или поздно приняться за свободную разработку простого человека в его бедной самостоятельности, когда все угловатости и недостатки его природы открываются очень ясно. Без этого мы бы не имели равностороннего изучения народной жизни и ее возможно полной картины. Г. Успенский всегда будет заслуживать нашу благодарность за употребление своего увлекательного юмористического таланта на воссоздание будничной, ежедневной стороны народа, со всеми

ее странностями и комическими элементами, свойственными, впрочем, в разных видах и формах всем будничным сторонам каждого общества. В нашей литературе он занимает почти такое же место, какое в истории живописи занимают Теньер, Остад и другие, им подобные мастера, а это весьма почетное место.

Совсем другое говорят, однако же, те, которые называют способ г. Успенского относиться к своей задаче единственно правдивым или единственно верным способом, а картины, им создаваемые, считают «голой правдой», которая выражает все, что только можно выразить повестью о народе в нынешнем его положении.

И, во-первых, напрасно было бы искать чего-либо безыскусственного, наивного и несомненно правдивого там, где заметно одно из капризнейших свойств писателя – юмор. Юмор есть такой же условный прием, как и другие авторские приемы, и не менее их способен вводить в заблуждение читателя насчет истины предмета. При более занимательном анализе свойств юмора и его проявлений легко открыть, что юмор очень хорошо уживается с системами, как ни противны ему, по наружности, всякого рода мудрствованию, что он доступен в значительной степени обольщениям, как ни старается держаться около реального мира, что он способен к фантастическим пояснениям и поклепам на мир ничуть не менее пиитического или лирического воодушевления, которые любят освещать предметы собственной своей, подстав-

ной мыслью. Разница между ними состоит в том, что увлечения и ошибки юмора все кроются в личности автора и нигде более: система, которой почасту служит юмор, обыкновенно вытекает из незыблемой веры писателя в первенство и господство комических сторон жизни над всеми другими, обольщенья, которые заслоняют юмору правду и настоящее содержание явлений, происходят от врожденной склонности автора к нелепому и чудному в жизни. Известно однако ж, как легко эта склонность, если за ней нет достаточного присмотра, превращается в слепую страсть и доходит до преувеличения каждого положения и каждой темы, до произвольного украшения их и до прибавки к ним всего, что автор почерпнет в собственной фантазии. Все становится хорошо, что дает исток комической силе писателя, которая деспотически управляет его талантом. Разумеется, мы говорим о юморе без всякого *идеального* содержания, каким обладает г. Успенский. Простоты отношений к предметам тут искать нечего; контракт, состоявшийся между ними и автором, неравномерен; все выгоды на стороне последнего, особенно если он в самом себе не чувствует потребности самоограничения и умеренного пользования ими.

А что касается до голой правды насчет явления, то юмор без серьезной мысли в основании вряд ли может простирать свои виды так далеко. Лица, выводимые, например, г. Успенским, отличаются все одним родовым признаком: они не имеют вперед никакой возможности развития и никогда не

имели задатков развития во всю жизнь. Читатель видит перед собой странные существа, которые, очевидно, с ранней молодости не слышали ничего похожего на здравую мысль, на практическое суждение, и не нажили себе сами и капли опыта, приобретаемого, однако же, и животными, в значительной степени. Эти лица вполне и по преимуществу *не помнящие родства*. Юмор с идеальным оттенком грешит часто противоположным недостатком. Комические лица простонародья нередко теряют у него и свои жизненные приметы от излишних усилий олицетворить собой несостоятельную часть народных воззрений на жизнь и обстановку, окружающую ее. Иногда также он с нервической и непростительной робостью отступает перед изображением напрямки дикости, невежества и суеверия, которые, несомненно, существуют, без всякой нравственной примеси, в низменных сферах гражданского быта так же точно, как и на высотах его. За всем тем основной принцип юмора этого рода – смотреть на комические лица простонародья как на отражение в извращенном виде, в загрубелой и испорченной форме той самой мысли народа, которая у источника своего чиста и многозначительна – этот принцип, кажется нам, имеет гораздо более средств подойти к правде, чем принцип искания ее по одним внешним признакам, как бы ловко они ни группировались. Покуда формальный юмор г. Успенского, очень чуткий ко всем неловким, пустым или странным движениям предмета, занимается классами общества или лицами без исто-

рического прошлого, без преданий и почвы – гимназистами и студентами, офицерами, выродившимися купцами и мещанами, – юмор его на своем месте и выражает их с необычайной меткостью и полнотою. Но когда тот же юмор обращается к народу, лица, которые он вырывает из целой массы его, еще очень забавны, но уже ничего не поясняют, даже самих себя. Они нелепы – вот их единственный смысл, единственное содержание и единственное значение. Глядя на них, нельзя себе представить, чтоб из соединения подобных нелепых единиц, хотя бы в миллионном числе, могло составиться что-либо, заслуживающее имя народа. Вдобавок за ними еще и не видно ничего у г. Успенского, который, кажется, очень расположен думать, что ничего другого и нет за ними. Жаркие опровержения этой гипотезы, которые беспрестанно слышатся у нас со стороны историков, этнографов, собирателей песен и исследователей народного быта, заставляют нас, однако же, скорее предполагать, что автор выразил собою справедливость французской поговорки, гласящей, что за деревьями можно иногда не увидеть леса. Где же тут возвещенная голая правда и повод гордиться открытием ее?

Кажется, сам автор по временам испытывает некоторого рода смущение и понимает инстинктивно недостаток серьезного элемента в своем юморе. По крайней мере, мы этим обстоятельством объясняем себе появление как мелодраматических рассказов, о которых упоминали, так и ряда поздней-

ших их сцен, отличающихся некоторым сентиментальным характером и уже совершенно бледных по замыслу и исполнению. Бедность замысла и исполнения все растет у г. Успенского с каждым новым его произведением до того, что последнее из них всегда бывает бесцветнее и слабее предыдущего. Мы полагаем, что г. Успенскому пора остановиться на этом пути и подумать о способах обновления своего таланта, видимо, замирающего в одной пробитой им колее, с которой расстаться не может. Грустно было бы предполагать, что этому оригинальному таланту, возбудившему столько симпатий в публике, суждено измельчаться и незаметно истощиться, капля по капле, в недоделанных отрывках и в детском лепете таких сцен, которые едва ли что прибавляют к своему заглавию. Никогда не возьмем мы на себя дерзости давать от своего имени какие-либо советы писателю, знающему, вероятно, лучше нас, что ему нужно делать; но, переходя на сторону публики и становясь в ряды ее, мы имеем право высказать голос для заявления ее требований. Масса читающей публики ожидает от г. Успенского создания *полного* комического типа, с глубоким жизненным содержанием, какого бы свойства ни было оно: трогательное или едкое, умиляющее или обнаруживающее испорченность человеческой природы – все равно. Мысль об осуществлении подобного типа должна подействовать спасительно на творческие силы самого автора, которым нельзя отказать в значительном объеме и которые при этом нашли бы работу, способную еще укрепить

И ВОЗВЫСИТЬ ИХ.